



DOI: 10.24411/2618-9674-2018-10033

Буланин Д. М.

**К изучению механизмов
«второго южнославянского влияния»
на русскую письменность**

Есть общие темы, по которым напрашиваются новые решения или хотя бы аргументированные гипотезы, но к которым нелегко подступить. Взяться за подобную тему иногда помогает частный казус. Такова тема «Второго южнославянского влияния». А предлогом для того, чтобы вернуться к обсуждению проблемы, вынесенной в заглавие работы и многократно муссировавшейся в историографии, послужила одна-единственная рукопись — РНБ, собр. Погодина, № 989. Рукопись эта, содержащая перевод шестнадцати слов Григория Богослова (литургическая коллекция) с сопроводительными статьями, в свою очередь, неоднократно привлекала внимание исследователей, прежде всего из-за находящегося в ней на л. 340 об.-343 об. пространного колофона. Колофон написан от лица переписчика — Олешки Палкина (Павлова), личности, довольно известной в истории Кирилло-Белозерского монастыря, причем окончание его работы над рассматриваемой книгой датировано 1479 г. Поскольку однако Погодинский кодекс не является автографом Олешки¹, по-видимому, мы имеем дело с копией колофона из той рукописи, которую он действительно переписал и которая послужила антиграфом для дошедшего до нас памятника. Нужно полагать, что при этом находившийся в оригинале год окончания работы Олешки был заменен копиистом Погодинской рукописи на 1479 г. В своей писцовой записи Олешка подробно рассказывает о предыстории того сборника шестнадцати слов, который он только что переписал (антиграф Погодинской рукописи): из его рассказа следует, что кодекс 1479 г. является последним звеном в целой цепочке рукописей, восходящих в конечном итоге к сборнику, привезенному «от Сербские земли» неким Кассианом Румянцевым. Если верить этой истории, прибывшая из дальних краев книга вызвала бурный восторг у всех заглядывавших в нее иноков, но непривычный языковой извод приводил их в замешательство. Никто не решался еще раз переписать фолиант, вмещающий бездну премудрости. Наконец, нашлись два старца, переселившиеся из Троице-Сергиева монастыря в Кириллов, которые, возложив надежду на Бога, «неудобь разумное исправиша и изъясниша»; они же, вероятно, изъяли из текста толкования Никиты Иракийского, сопровождавшие первые восемь слов сборника в сербском оригинале. Результатами их работы и воспользовался Олешка при изготовлении собственного списка сборника.

Колофон Олешки неизменно пользуется спросом у специалистов, которые могут из него извлечь, а отчасти уже извлекли, единственные в своем роде сведения, относящиеся к разным аспектам русской книжной культуры XV в.² Здесь, например, отыскались реминисценции из ряда архаических памятников славянской литературной

¹ Список его автографов см.: Шибавв М. А. Рукописи Кирилло-Белозерского монастыря XV века: Историко-кодикологическое исследование. М.; СПб., 2013. С. 141-158.

² См., со ссылками на предшествующую литературу, по указателю в кн.: Romanchuk R. *Byzantine Hermeneutics and Pedagogy in the Russian North: Monks and Masters at the Kirillo-Belozerskii Monastery, 1397-1501*. Toronto; Buffalo; London, 2007, p. 409.

традиции. Здесь, по мнению одного из комментаторов (И. Шевченко), встречаются выражения, связывающие текст колофона с классикой греческой патристики, и присутствует, как считает ученый комментатор, даже терминологический гапак. Здесь использован довольно репрезентативный набор устойчивых образов-клише, применявшихся в их записях иными деятелями книгописной школы Кириллова монастыря, а также полюбившихся Олешке Палкину лично. Они повторяются в колофонах, которые имеются в других рукописях с его именем и переписанных его почерком. Здесь, наконец, назван поименно примерно десяток иерархов и простых иноков, подвизавшихся в разных обителях Северо-Восточной Руси, о которых из прочих источников нам известно очень мало или не известно ничего. Но самое главное — писцовая запись Олешки служит одним из редких эксплицитных указаний на то, как шел процесс Второго южнославянского влияния. В самом деле, колофон однозначно констатирует, что протограф Погодинского сборника был вывезен с Балкан, что он сразу привлек внимание русских начетчиков, хотя его сербская орфография тормозила распространение памятника, но что в итоге, после неких манипуляций с текстом, он благополучно прижился на новой почве. Мои разыскания по рецепции славянской письменностью толкований Никиты Ираклийского на литургический сборник слов Григория Богослова придают дополнительную значимость Погодинскому кодексу как источнику, в том числе находящемуся в кодексе и пересказанному только что колофону³. Дело в том, что рассматриваемая рукопись (точнее — ее протограф) отражает определенный этап в восприятии южными и восточными славянами сборника шестнадцати слов Григория Богослова с толкованиями («третья восточнославянская редакция»). Более того, по ряду признаков протографический сербский список Кассиана Румянцева стоит во главе почти всей последующей рукописной традиции сборника у восточных славян, поскольку его «третья редакция» вытеснила на периферию местной письменности значительно более раннюю «вторую редакцию». Иными словами, у нас есть текстологическое подтверждение тому, что мы вычитали в колофоне Олешки об одном-единственном прародителе для всех младших поколений восточнославянской традиции. Сама по себе твердо установленная генеалогия патристического сборника устойчивого содержания на начальном этапе его развития, притом одного из самых популярных сборников, — исключительно редкий случай в доступном нам корпусе древней славянской письменности вообще и в наборе памятников, пришедших на Русь по ходу Второго южнославянского влияния, в частности.

Держа в уме рассказ Олешки и обогатившись новыми сведениями о переходе с Балкан на Русь последней по времени южнославянской редакции сборника шестнадцати слов, сопровождаемых толкованиями Никиты Ираклийского («третья южнославянская редакция»), мы можем соотнести судьбу отдельной рукописи и представленной в ней редакции с тем, что мы знаем о сложном комплексе материальных и духовных процессов, посредством которых реализовалось Второе южнославянское влияние на русскую культуру. В частности, в этом запутанном и многоплановом явлении можно выделить и обсудить, по меньшей мере, три вопроса, прямо или косвенно отразившихся в истории Погодинского манускрипта. Первый вопрос — о типичности того способа проникновения к нам балканских книжных новинок, который имел место в случае с книгой Кассиана Румянцева. Второй вопрос — о способах графической и орфографической адаптации трансплантированных на новое место памятников южнославянской письменности. Третий вопрос — о последующей участи

³ Буланин Д. М. Мифологические толкования к словам Григория Богослова и «Шестоднев» Иоанна Экзарха // ТОДРЛ. Т. 66 (в печати).



внедрившихся в русский книжный репертуар новых переводов и новых редакций, а также об их репродуктивном потенциале. Откликаясь на каждый из трех вопросов (как, впрочем, и в отношении остальных проблем развития русской средневековой культуры), рекомендуется не смешивать объективно разворачивавшиеся события с тем, как их субъективно интерпретировали участники этих событий. Поскольку поставленные вопросы требуют подробного критического анализа, в настоящей работе мы сосредоточимся на первом — о реальных фактах, умоглядных построениях и произвольных догадках, иллюстрирующих восприятие восточными славянами памятников балканской литературной культуры. Второй вопрос мы затронем лишь в меру необходимости, а обсуждение третьего отложим до лучших времен.

По интересующему нас предмету в научной литературе, со времен хрестоматийного исследования А. И. Соболевского⁴, обращают внимание на три фактора. Южнославянская книжность воздействовала на древнерусскую или а) через «живых носителей» иноземного литературного и языкового регламента, или б) при посредничестве южнославянских кодексов, которые приносили с Балкан на Русь и которые здесь служили образцами для изготовления собственных копий, или в) как результат сотрудничества восточнославянских и южнославянских книжников в православных центрах наднационального уровня — в Константинополе и в монастырях Афона. Увы, разочарование ожидает всякого, кто обратится к источникам, долженствующим подтвердить значимость перечисленных факторов, ибо они явно не соответствуют масштабам того явления, которое принято называть Вторым южнославянским влиянием.

В самом деле, ущербность контингента «живых носителей» признавал уже Соболевский. Обычно называются три имени — митрополит Киприан, Григорий Цамблак и Пахомий Логофет. Из них полностью соответствует прикрепленному к нему ярлыку и своей подлинной роли один Киприан, который не только самолично переписал в 1387 г. в Константинополе «Лествицу», неукоснительно соблюдая нормы среднеболгарской орфографии (РГБ, собр. МДА фонд., № 152)⁵, но и потом энергично участвовал в распространении литературного опыта Балкан. Благодаря колоссальному авторитету митрополита, его труды прочно ассоциировались у современников и потомков с «исправлением книжным» в широком смысле этого слова (см. запись в Цветной Триоди ГИМ, собр. Успенского собора, № 7 перг.). Не приходится удивляться, что, помимо подлинных книжных мероприятий с его участием (оригинальные сочинения, переводы, заказ рукописей), именем Киприана стали маркировать памятники и книги, к появлению которых он не имел отношения. О пребывании Цамблака в Москве нет достоверных сведений, так что о распространении в русской письменности XV в. его творений, включая «собрание сочинений» («Книга Григорий Цамблак»), должно говорить на равных правах с другими текстами южнославянского происхождения. О заслугах Пахомия Логофета, касающихся переноса в русскую литературу южнославянских стандартов по всему спектру агиографических жанров, не может быть двух мнений. Но он прибыл в Новгород только в конце 1430-х гг., так что его активность уже выходит за границы занимающего нас процесса. Сомнения закрадываются и по другому поводу — об исходной орфографической системе писателя,

⁴ Соболевский А. И. Южнославянское влияние на русскую письменность в XIV-XV веках // Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV-XVII веков: Библиографические материалы. СПб., 1903. С. 1-37 (СОРЯС. Т. 74. № 1).

⁵ Князевская О. А., Чешко Е. В. Рукописи митрополита Киприана и отражение в них орфографической реформы Евфимия Тырновского // Тырновска книжовна школа. Т. 2: Ученици и последователи на Евтимий Тырновски (Втори Международен симпозиум. Велико Тырново, 20-23 май 1976). София, 1980. С. 282-292.

которая, думается, может быть отчасти реконструирована на основании многочисленных его автографов⁶. Жаль, что с этой точки зрения они не привлекли внимания лингвистов. Достойна, например, обсуждения эволюция, какую проделали его навыки письма в промежутке между рукописями, копированными Пахомием с разрывом в пятнадцать лет, — в начале 1440-х гг. (РГБ, собр. Троице Сергиева мон., № 180) и в конце 1450-х гг. (РГБ, собр. МДА, № 23). Если в первой писец старается держаться ресавской орфографии (составители описания даже называют манускрипт сербским), то во второй существенно больше элементов тырновской, на которую ориентировалась остальная московская письменность. Но вот что существенно: уже в первой из названных рукописей проскальзывают русизмы (например, гласные перед плавными), как если бы природный русак взялся писать по-сербски. Учитывая условность тогдашних этнонимов (особенно на Афоне), мы не можем исключить, что именно так обстояло дело с Пахомием Сербом.

Не отличается богатством набор южнославянских кодексов (или хотя бы их частей), которые, выполнив в XV в. свою функцию проводников южнославянского влияния, сохранились до сегодняшнего дня. Попытку составить перечень тех из них, которые несут следы своего пребывания на Руси в пределах до конца XVI в., предпринял А. А. Турилов, который насчитал в этом разряде четырнадцать болгарских кодексов (включая упомянутую «Лествицу» Киприана) и четыре сербских⁷. В действительности, указанные цифры обманчивы, давая, по ряду причин, завышенные результаты или, как то часто бывает с численными показателями, скрывая истинное положение вещей. В частности, если говорить о болгарских рукописях перечня, то в кодексе РГБ, собр. Троице-Сергиева мон., № 744 (№ 7 по Турилову) болгарским является только конечный фрагмент книги, причем требуется еще доказать, что с предшествующей русской частью он соединился на раннем этапе истории, а в кодексе ГИМ, Синодальное собр., № 949 (№ 10 по Турилову) подтверждающие раннее бытование рукописи на Руси вставки датируются XVI в., тем самым исключая этот номер из числа фактов, связанных со Вторым южнославянским влиянием. Но, пожалуй, самое главное — бедность номенклатуры рукописных книг в перечне Турилова, жалкой даже на фоне их малого числа в целом, так что в итоге еще более скудной оказывается эта ничтожная часть от внушительного массива текстов, который фактически был усвоен на востоке славянского мира в результате Второго южнославянского влияния. Многочисленные повторения одних и тех же памятников, какие отыскиваются в перечне, свидетельствуют, что сохранность книг была не всегда делом случая, а сохранившиеся книги иллюстрируют не столько процесс идущего с юга влияния, сколько запрос читателей на определенные названия. Мы видим тут три списка «Лествицы» и три списка Поучений аввы Дорофея. Характерно для славянской письменности и соединение двух произведений под одним переплетом в РНБ, собр. Погодина, № 1054 (№ 1 по Турилову). По поводу этих двух позволю себе высказать предположение, что перед нами (особенно в случае с «Лествицей») не просто очержденные факты универсального явления — обмена новыми редакциями между одной и другой славянскими книжными традициями. Похоже, что это книги и тексты, переписка и чтение которых несли какую-то дополнительную ритуальную нагрузку. Как известно, манипуляции с книгами приравнивались

⁶ Их уточненный перечень см.: Житие Сергия Радонежского: Пространная редакция / Подгот. А. В. Духаниной. М.; Брюссель, 2015. С. 593-597 (Patrologia Slavica. Вып. 3).

⁷ Турилов А. А. Восточнославянская книжная культура конца XIV-XV в. и «Второе южнославянское влияние» // Турилов А. А. Межславянские культурные связи эпохи Средневековья и источниковедение истории и культуры славян: Этюды и характеристики. М., 2012. С. 539, примеч. 28.



в то время к молитве, и «Лествица» с ее «степенной» структурой особенно подходила на такую роль (ср. «лестовку»). Этим и объясняется потребность монастырей в большом количестве копий с данных памятников, что, в свою очередь, явилось предпосылкой, обеспечившей сохранность множества списков, среди которых оказались, по закону больших чисел, и принесенные из-за моря⁸. В древнейшей инвентарной описи книг Кирилло-Белозерского монастыря XV в., не считая рукописи, предназначенной для уставных чтений («Лествица соборная»), значится еще шесть списков произведения, из которых в трех оно соседствует с Поучениями аввы Дорофея. Примечательно, что одна из рукописей, включающая оба произведения, принадлежала самому преподобному Кириллу («Кирилова»), а другая была вывезена из Симонова монастыря («Симановская»), следовательно, тоже входила в старший пласт монастырской библиотеки⁹. В Иосифо-Волоколамском монастыре по описи 1545 г. числилось двенадцать списков «Лествицы», из святоотеческого наследия там больше было только копий с Книги Исаака Сирина (тринадцать)¹⁰. Кстати, последняя тоже налицо в перечне Турилова (РГБ, собр. Троице-Сергиева мон., № 172, по Турилову № 8), наверное, она — еще один кандидат в разряд памятников «повышенного спроса».

Все без исключения ученые, кто обращался к феномену Второго южнославянского влияния, акцентировали внимание на особенной роли, сыгранной в обновлении книжного фонда восточных славян монастырскими центрами Константинополя и Афона. Неприятность заключается в том, что, как и в предыдущих случаях, тезис этот зиждется на очень ограниченном наборе документальных свидетельств. Почти все они учтены в статье Г. И. Вздорнова, которая завершается описанием русских и южнославянских рукописей XIV — начала XV в., переписанных в Константинополе и на Афоне и доставленных оттуда на Русь¹¹. Описание включает семнадцать номеров, в число которых входят как целые книги, так и отдельные произведения, принимаются в расчет (под общим номером, иногда выборочно) даже списки, снятые с оригиналов константинопольского или афонского происхождения. Количественные данные и здесь нуждаются в пояснениях и корректировке. Прежде всего, нужно понимать, что те из кодексов Вздорнова, которые выдерживают южнославянскую орфографию и дожили до нашего времени, вошли уже в разобранный выше перечень (таковы № 3 и 14 по Вздорнову — «Лествица» Киприана и Евангелие тетр ГИМ,

⁸ Митрополит Киприан рекомендовал читать авву Дорофея во время монастырской трапезы (РИБ. СПб., 1908. Т. 6. 2-е изд. Стб. 259-260). «Лествица» цитируется в Житии Сергия Радонежского (БЛДР. Т. 6: XIV — середина XV века. СПб., 1999. С. 306).

⁹ *Никольский Н. К.* Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря, составленное в конце XV века. СПб., 1897. С. 9 (Изд. ОЛДП. № 113). Отождествление Симоновской книги с болгарской рукописью РНБ, собр. Погодина, № 1054 нуждается в специальных доказательствах (ср.: *Шибачев М. А.* Рукописи... С. 40).

¹⁰ Опись книг Иосифо-Волоколамского монастыря 1545 г. / Публ. Р. П. Дмитриевой // Книжные центры Древней Руси: Иосифо-Волоколамский монастырь как центр книжности. Л., 1991. С. 31.

¹¹ *Вздорнов Г. И.* Роль славянских монастырских мастерских письма Константинополя и Афона в развитии книгописания и художественного оформления русских рукописей на рубеже XIV-XV вв. // ТОДРЛ. Л., 1968. Т. 23. С. 171-198. Ср.: *Турилов А. А.* Забытые русские святогорцы — Калинин и «филадельф»: (Страничка истории русского книгописания на Афоне в конце XIV — начале XV в.) // МОСХОВИА: Проблемы византийской и новогреческой филологии. Вып. 1: (К 60-летию Б. Л. Фонкича). М., 2001. С. 431-437. Ср. также «Чин, како подобает пети двенадцать псалмов», принесенный со Святой горы архимандритом Досифеем, о личности которого, правда, нет единого мнения (*Прохоров Г. М.* Досифей // СККДР. Вып. 2: (Вторая половина XIV-XVI в.). Ч. 1: А-К. Л., 1988. С. 198).

собр. Воскресенского мон., № 1 бум.). Позволим себе еще несколько комментариев по списку Вздорнова. То, что Новый Завет митрополит Алексей (№ 1) переписал в Константинополе, все-таки остается не поддающимся проверке преданием. Если список «Диоптры» 1388 г. ГИМ, собр. Чудова мон., № 15 (№ 4 по Вздорнову) действительно был изготовлен в Константинополе, помещенные в описании вслед за ним списки того же произведения 1418 и 1426 гг. не имеют никакого отношения к византийской столице. Отождествление с известным писцом Евсевием-Ефремом того «убогого Еусевия», чья запись, датированная 1420 г., скопирована в более поздней Четвье Минее РГБ, собр. Троице-Сергиева мон., № 669 (№ 8 по Вздорнову), представляется довольно убедительным. Однако запись находится в середине кодекса (л. 124), причем помещена она на нижнем поле и отбита от текста Жития Симеона Дивногорца, который заканчивается в верхней части данного листа. Поэтому атрибуцию Евсевию-Ефрему как переписчику даже этой статьи, не говоря уже о прочих разделах сборника, нельзя считать надежной. Аналогичная картина со Словом постническим Максима Исповедника, которое, как следует из приписки к произведению, воспроизводимой в позднейших копиях, по заказу того же Евсевия-Ефрема перевел Иаков Доброписец (№ 12). Приписка касается одной лишь статьи, некорректно усваивать копиисту на этом основании изготовление целого сборника¹². К оригиналу Афанасия Русина допустимо возводить лишь первую половину сборника РГБ, собр. Троице-Сергиева мон., № 746 (№ 15), без завершающего рукопись Жития Афанасия Афонского¹³. Кроме прочего, дошедшие до нас сведения о рукописях и отдельных произведениях, попавших на Русь из Константинополя и с Афона, весьма однобоко иллюстрируют содержание южнославянского влияния. Ибо тут налицо знакомая уже нам монотонность номенклатуры, которая довольно скромна для генерального вывода о нормативном значении константинопольских и афонских книжных образцов. Достаточно сказать, что три номера в описании Вздорнова занимает «Лествица» (№ 3, 9, 10), факт, лишний раз подкрепляющий мою мысль о каких-то ее внелитературных функциях. Замечательно в этой связи, что в 1478 г., т. е. в период, выходящий за хронологические рамки описания Вздорнова, и четверть века спустя после падения Константинополя, находившийся там русский священноинок Ювеналий очередной раз переписывает «Лествицу» (ГИМ, собр. Хлудова, № 58). Ясно, кажется, что он выполнял урок своего духовного отца или данный им обет, или просто не желал оставаться без дела, но никак не ставил перед собой задачу перенести на родину новый перевод.

Сказанное, думается мне, стирает и без того почти неразличимые следы, какие остались от процессов инфильтрации южнославянских книжных новин XIV – начала XV в. в восточнославянскую письменность. Добавлю, в качестве своеобразного *ultima ratio*, что мы не располагаем ни одной парой памятников, из которых русский был бы прямой копией с болгарского или сербского¹⁴. Если сравнить корпус русских книг середины XV в. с тем книжным фондом, какой был накоплен на Руси к концу XIV в. и сохранился до наших дней, отличия будут разительными. Изменилось все – объем книжной продукции, репертуар, география книжных центров, орфография рукописей, искусственно препарированная и максимально удаленная от разговорного языка, одновременно освобожденная от локальных особенностей и относительно унифицированная. Изменились почерки, художественное оформление кодексов

¹² См. еще о Евсевии-Ефреме: ПЭ. М., 2008. Т. 17. С. 277 (автор – А. А. Турилов).

¹³ Буланин Д. М. Житие Афанасия Афонского // СКЖДР. Вып. 2: (Вторая половина XIV-XVI в.). Ч. 3: Библиографические дополнения. Приложение. СПб., 2012. С. 640.

¹⁴ По наблюдениям новейшего специалиста, тверские «Лествицы» 1402 и 1404 гг. не списывались непосредственно с «Лествицы» Киприана, как прежде предполагалось (Попова Т. Г. Лествица Иоанна Синайского в славянской книжности. Саарбрюкен, 2011. С. 196-197).



и даже материал для письма (бумага вместо пергамента). Если бы в книжной культуре за истекшие пятьдесят лет, помимо находящихся на поверхности и рассмотренных выше фактов, не протекало каких-то подспудных процессов, — тогда случившееся могло бы показаться чудом. Не приходится удивляться тому, что неосязаемость этих процессов стимулировала рождение в среде лингвистов спорных, а иногда и фантастических теорий. Не приходится удивляться и тому, что, в связи с мизерностью современных известий о феномене Второго южнославянского влияния, в историографии делались попытки отрицать само его существование (Л. П. Жуковская). Полагаю, что такая нигилистическая позиция входит в противоречие с внутренними и внешними чертами рукописных памятников XV в., разительные отличия которых от манускриптов предыдущего столетия трудно игнорировать. Более того, полагаю, что все три разобранных фактора, признаваемых тремя главными способами влияния, и правда, сыграли ту роль, которая за ними закреплена в историографии¹⁵. Тем не менее, редко нарушаемое молчание источников о конкретных случаях контакта двух традиций само по себе является историческим фактом, нуждающимся в объяснении. Попробуем в связи с этим перепроверить убедительность некоторых бытующих в науке постулатов, касающихся Второго южнославянского влияния.

В авторитетных работах не один раз подвергался критике сам термин «Второе южнославянское влияние», употреблением которого ставится под сомнение самостоятельность решений, принимаемых воспринимающей стороной при усвоении разных атрибутов чужой культуры¹⁶. Поскольку при этом, идет ли речь о пассивном восприятии или об активном выборе, но интенсивное взаимодействие русской литературы с балканскими безусловно признается, перечислим еще раз нововведения, которые ведущими учеными соотносятся с соответствующими явлениями на Балканах. Резюмируя их наблюдения, М. Г. Гальченко сводит нововведения к пяти пунктам: 1) увеличение корпуса текстов за счет новых переводов (и новых редакций); 2) изменения в составе употребляющихся в древнерусских рукописях графем, орфографии и языке; 3) распространение младшего полуустава; 4) изменения в оформлении восточнославянских рукописей; 5) стилистические новации¹⁷. Главными естественно являются первые два пункта, что и подчеркивается специалистами, причем еще А. И. Соболевский решительно заявлял, что «замена одних начертаний букв другими и одной орфографии другой не имеет ценности»¹⁸. Заявление, с которым, как будто, никто не спорит¹⁹, нужно понимать в том смысле, что побудительной причиной для обращения русских начетчиков к балканскому книжному фонду явилось не стремление

¹⁵ Пожалуй, я бы поостерегся лишь чересчур педалировать тезис о широком участии в процессе Константинополя и Афона. Применительно к Афону сдерживающим моментом должно служить обилие поздних и вымышленных сведений о его роли в истории русской религиозной культуры (Буланин Д. М. Афон в древнерусской письменности до конца XVI в.: (Из истории образа по памятникам, учтенным в «Словаре книжников и книжности Древней Руси», а также пропущенным при его подготовке) // СКЖДР. Вып. 2. Ч. 3. С. 427-634).

¹⁶ Успенский Б. А. История русского литературного языка: (XI-XVII вв.). München, 1987. С. 184 (Sagners Slavistische Sammlung. Bd 12); Живов В. М. История языка русской письменности. В 2 т. М., 2017. Т. 2. С. 822-823, 835.

¹⁷ Гальченко М. Г. Второе южнославянское влияние в древнерусской письменности: (Графико-орфографические признаки Второго южнославянского влияния и хронология их появления в древнерусских рукописях конца XIV-первой половины XV в.) // Гальченко М. Г. Книжная культура. Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси: Избранные работы. М.; СПб., 2001. С. 325-326 (Труды Центрального музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Т. 1).

¹⁸ Соболевский А. И. Южнославянское влияние... С. 13.

¹⁹ Ср., правда: Гальченко М. Г. Второе южнославянское влияние... С. 342.

имитировать манеру южнославянских школ письма, а необходимость расширить собственный ассортимент книг.

Не вызывают особых разногласий и причины, побуждавшие наших деятелей книжной культуры к такому расширению. Конечная причина — монашеское возрождение XIV в., которое началось на Балканах, а до нас докатилось не ранее эпохи Сергия Радонежского и его учеников. Поскольку же существование на Руси в предыдущие столетия крупных и институционализированных монашеских общин, особенно таких, которые были бы оторваны от мира, вызывает серьезные сомнения, правильнее, с учетом русской специфики, говорить не о возрождении, а о рождении. Процесс, где бы он ни начался на деле²⁰, получил мощный импульс благодаря престижу Троице-Сергиева монастыря, хотя причины, побуждавшие людей в те именно годы уходить от суеты света, применительно к русскому контексту, все еще нуждаются в адекватной интерпретации. Развивался процесс стремительно, так что в течение нескольких десятилетий новоучрежденные монастыри выросли по всей территории Северо-Восточной Руси. Как кажется, эти обители жили по скитскому уставу, что соответствовало и их местоположению — в глухих лесах («пустынях»). Правда, в литературе распространено мнение, что русские монастыри уже с XIV в. один за другим переходили к киновиальному устройству, и это мнение подкрепляется даже довольно спорными социологическими доводами — будто в общежительных монастырях находила опору идея централизации светской власти²¹. На самом деле, скорее всего строгая дисциплина общежительного монастыря ограничивалась у нас и тогда, и еще много лет спустя лишь некоторыми устными распоряжениями настоятеля. Не углубляясь в аргументацию, отмечу только, что есть серьезные основания считать первым на Руси типиком дисциплинарного характера, положенным на бумагу, Устав (Духовную грамоту) Иосифа Волоцкого²².

Но даже если не настаивать на существовании строгой киновиальной дисциплины, якобы насажденной в плеяде выросших по «медвежьим углам» Руси монастырях, жизнь в обители требовала неустанных трудов по переписке книг, их чтению или пению. Сообразно этой потребности уже в конце XIV в. и особенно в первые годы XV в. резко возрастает количество находившихся в обороте рукописей. Среди них немалое уже число приходилось на новые южнославянские переводы и редакции. Сложность заключается в том, что среди этих русских списков есть две неравные доли: в большинстве своем (хотя общее их число невелико) это рукописи, писцы которых не признают южнославянские орфографические нормы, внося перемены относительно своего антиграфа в соответствии с принятыми на Руси написаниями²³, но есть и чрезвычайно редкие примеры рукописей с выдержанной болгарской орфографией²⁴. Как получилось, что последние вытеснили из обращения первые, и сколько было в действительности этих первых, где, помимо орфографии, удерживаются традиционные для Древней Руси уставные и старшие полууставные почерки? Обычно в литературе констатируется хронологический разрыв между начальными поступлениями в русскую письменность новых памятников с юга и переходом на искусственные орфографические правила, а также подчеркивается, что этот переход был сознательным решением реципиента. «В противном случае, — пишет Турилов, — ничто не мешало писцам первой четверти XV в. продолжать традицию русификации списков, успешно

²⁰ Ср. соображения по этому поводу: *Клосс Б. М.* Избранные труды. Т. 1. Житие Сергия Радонежского. Рукописная традиция. Жизнь и чудеса. Тексты. М., 1998. С. 38.

²¹ *Живов В. М.* История... Т. 2. С. 829, примеч. 440.

²² *Буланин Д. М.* Афон... С. 581. Ср.: *Синицына Н. В.* Русское монашество и монастыри: X-XVII вв. // ПЭ. (Вводный том): Русская православная церковь. М., 2000. С. 307.

²³ Перечень их см.: *Турилов А. А.* Восточнославянская книжная культура... С. 542, примеч. 29.

²⁴ *Гальченко М. Г.* Второе южнославянское влияние... С. 328.



осуществляемую старшим поколением книгописцев»²⁵. Оба тезиса справедливы, но оба нуждаются в комментариях.

Акцентируя внимание на опоздании, какое имело место при усвоении южнославянской орфографии (что само по себе несомненно), или демонстрируя, как то делает Гальченко, растянутость этого процесса во времени (что тоже верно), мы невольно открываем трансформацию русской орфографии от первопричины этого феномена. Ясно, между тем, что графико-орфографические новации были составной частью монашеского возрождения (или рождения), которое и поставило лицом к лицу русскую и южнославянскую религиозные культуры и которое открыло заслоны для устремившегося с юга книжного потока. Задержка в рецепции орфографии переносимых на Русь текстов и книг нуждается в отдельном объяснении. Быть может, она вызвана трудностями, обусловленными непривычным для первопроходцев дистанцированием новой модификации церковно-славянского языка от разговорного. Но такая задержка не отменяет того непреложного факта, что встреча двух культур достигла своей кульминации в конце XIV в., в то время как в первые десятилетия XV в. мы наблюдаем лишь отголоски этой встречи — смена орфографии является одним из таких отголосков²⁶. Подтверждений много, причем все симптомы говорят о том, что главенствующей была ориентация на болгарские образцы. В рассмотренном выше (по данным Турилова) перечне балканских рукописей, влившихся в наш книжный фонд и сохранившихся по сию пору, болгарских существенно больше, чем сербских, но среди тех и других нет памятников моложе XIV в. Там, где это может быть определено, оригинальные и переводные творения, воспринятые на Руси в результате Второго южнославянского влияния, — почти все болгарские, а значит, появились на свет не позже XIV в. Графико-орфографическая система, пускай с ретардацией, утвердившаяся на Руси в XV в., основана на нормах тырновской школы, следовательно, тоже обращена к XIV в. Вывод о том, что главные события, связанные с влиянием, пришлось на конец XIV в. и что главным донором была болгарская литература, можно сделать и от противного: еще Соболевский заметил, что сербские переводы первой половины XV в., а их немало, не были у нас восприняты²⁷. Он же весьма проницательно заметил, что сербские рукописи «затрудняли наших переписчиков», хотя препоной для их усвоения, я думаю, служили не языковые трудности, а репутация сербского извода церковно-славянского языка как «испорченного». Репутация эта сложилась рано, как явствует из того, что сербский извод каждой книги всегда у нас специально пометается. Из четырех сербских номеров в перечне Турилова три отыскиваются в ранних описях книг с пометой «сербский»²⁸; напротив, ни один номер из болгарской части того же перечня не оставил следов в подобных описях.

²⁵ Турилов А. А. Восточнославянская книжная культура... С. 524.

²⁶ Компактную группу текстов южнославянского (преимущественно сербского) происхождения, пришедшую к нам в конце XV — начале XVI в., надлежит рассматривать как отдельный этап в славяно-русских связях (Турилов А. А. 1) Восточнославянская книжная культура... С. 529-530; 2) Южнославянские переводы XIV-XV вв. и корпус переводных текстов на Руси: (К 110-летию выхода в свет труда А. И. Соболевского) // Турилов А. А. Межславянские культурные связи... С. 557-558). К этой группе мы еще вернемся.

²⁷ Соболевский А. И. Южнославянское влияние... С. 11. Хотя в новейших исследованиях рисуется значительно более сложная картина и по отдельным нюансам мнение Соболевского оказывается несостоятельным, общее заключение его остается в силе. См.: Турилов А. А. К вопросу о сербском компоненте во «Втором южнославянском влиянии» // Турилов А. А. Межславянские культурные связи... С. 596-611.

²⁸ Никольский Н. К. Описание... С. 7 («Соборник сербской»); Опись книг Иосифо-Волоколамского монастыря 1545 г. С. 31 («Лествица в полдесть, сербская словеть»), 32 («Иоасаф сербский старой»).

Считается, что распространение нового церковно-славянского правописания началось на Руси через полученные с юга новые переводы и редакции. Вопрос лишь встает о существовании здесь причинно-следственной связи: начало ли использоваться такое правописание, потому что переводы и редакции были новыми, или просто напротив именно эти переводы и редакции понадобились тогда восточным славянам, а потому они раньше других подверглись орфографической обработке? Гальченко вносит немаловажное уточнение, отмечая, что первыми восприняли реформированное правописание произведения аскетического содержания, именно те, к которым был повышенный интерес в множившихся тут и там монастырях²⁹. Все сходится на том, что на первом месте стоял в данный исторический момент запрос на духовную литературу, удовлетворяющую изменившимся религиозным потребностям. Замена же «одной орфографии другой», если переиначить цитированное выражение Соболевского, имела «ценность» постольку, поскольку она составляла органический элемент прививаемых к обособившемуся стволу русской церковной жизни балканских монастырских идеалов. Поскольку, между прочим, средневековая философия языка подразумевала тождество обозначаемого и обозначающего. В этом и только в этом я вижу осмысленность тех преобразований, которые полностью изменили языковую ситуацию в Древней Руси. Что касается памятников, пришедших от южных славян, но русифицированных в старших списках по традиционной модели, полагаю, что перед нами обычная в критические моменты неравномерность сдвига разных уровней какой-то системы (в нашем случае такой системой является сложившаяся до конца XIV в. совокупность всех памятников древнерусской письменности со всеми их атрибутами). Но и здесь возникает вопрос, являются ли русифицированные списки маргинальными относительно общих закономерностей процесса, неудачными пробами усвоения новых южнославянских текстов, или это сохраненные для нас игрой случая остатки первого и самостоятельного этапа Второго южнославянского влияния, который был отменен на следующем этапе как аномалия. Ибо прошло какое-то время (по мнению Гальченко — десять лет, по мнению Турилова — четверть века³⁰), и равновесие восстановилось: форма (новая орфография) была, наконец, приведена в соответствие с содержанием. Правда, на усвоенных тогда с юга памятниках, как мы вскоре убедимся, распространение новой орфографии не закончилось.

Сейчас хотелось бы обратить внимание на некоторые научные построения, бездоказательно постулирующие идеологическую подоплеку у процесса внедрения тырновской орфографии в русскую письменную культуру. Хотя Б. А. Успенский начинает раздел своей книги, посвященный Второму южнославянскому влиянию, с констатации того, что скудость документальных свидетельств компенсируется в ученых трудах многочисленными мифами³¹, он не остался в стороне от новой волны мифотворчества по поводу изучаемого феномена. Высказывается мнение об особом авторитете болгарской и сербской книжной традиции в глазах русских начетчиков, озабоченных будто бы созданием стандартизированного славянского языка; полагают, что это был один из инструментов, долженствующих помочь сплочению православной ойкумены перед лицом турецкой угрозы³². Говорится о межнациональном

²⁹ Гальченко М. Г. Лисицкие датированные рукописи конца XIV первой половины XV в. и проблема Второго южнославянского влияния // Гальченко М. Г. Книжная культура. Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси. С. 165.

³⁰ Гальченко М. Г. Второе южнославянское влияние... С. 333; Турилов А. А. Восточнославянская книжная культура... С. 524.

³¹ Успенский Б. А. История... С. 181. Ср.: Живов В. М. История... Т. 2. С. 822-823.

³² Успенский Б. А. История... С. 184-190; Живов В. М. История... Т. 2. С. 832-836.



значении среднеболгарского извода церковно-славянского языка³³. Рукописный материал не дает повода ни для одного из перечисленных выводов. Мало того, что случаи непосредственных контактов с книжными авторитетами, на которые указывают лингвисты, крайне скудны, русские переписчики XV в. не обнаружили к таким авторитетам особого пиетета, какой, казалось бы, им следовало проявить. Мы можем судить об этом по немногим доступным нам для изучения южнославянским кодексам из тех, что попали на Русь до XVI в. (см. выше). Никаких высказываний о южнославянском генезисе новых искусственных правил правописания в русских источниках не отыскивается, а конфликт с «традиционными букварями» представляет собой изобретение В. М. Живова, потому что букварей в то время не было и в помине³⁴. Не случайно, чтобы подтвердить целенаправленное отталкивание начетчиков XV в. от разговорного языка, ученому приходится искать иллюстрации в контроверзах русских книжников следующих столетий³⁵. В связи с узаконением в качестве норматива ориентированного на тырновскую орфографию церковно-славянского языка природные болгарские рукописи по-видимому не всегда обособлялись монастырскими книгохранителями от восточнославянских. Сербские же рукописи вообще вызвали недоумение и даже раздражение, едва ли не первым сигналом которого служит колофон Олешки Палкина в известном нам Погодинском сборнике. Ибо читателей его, как следует из колофона, воодушевляло содержание книги, но удручало ее языковое оформление. Если предполагать осознанное расподобление русскими книжниками разговорного языка и принятого за норму языка письменности южных славян, неприятие у нас ресавской орфографии невозможно объяснить.

Между тем, стремление идеологизировать реформу русской орфографии иногда побуждает исследователей, интерпретирующих действия копиистов, сделать, в подкрепление своей схемы, новые рискованные шаги. На русскую действительность бездоказательно проецируются балканские эксперименты и споры о языке XIV-XV вв. Именно: русским книгописцам приписывают рассуждения в духе «Сказания о писменех» Константина Костенечского, как известно, стремившегося очистить язык кирилло-мефодиевской эпохи от позднейшей «порчи». Еще большее насилие над материалом производится при попытке буквальной интерпретации этикетных заявлений и запретов, читающихся в писцовых записях. Развивая свою мысль о том, что русские реформаторы орфографии, укоренявшие в собственном узусе различия между разговорным языком и книжным, предостерегали будущих переписчиков от каких-либо вольностей при передаче оригинала, Живов ссылается на приписку к «Служебнику» митрополита Киприана: «Аще ли же кто восхощет сия книги преписывати, сматряй не приложити или отложити едино некое слово, или тычку едину, или крючкы...», и т. д. Исследователь противопоставляет этот призыв традиционным просьбам писцов исправлять за ними ошибки. Ясно, однако, что обращения в первом и во втором случае относятся к разным объектам: предельная аккуратность требуется при работе с конфессионально непогрешимым предметом — идеальным первооригиналом текста, в то время как копии не застрахованы от ошибок, каковые суть неизбежные реквизиты слабого и грешного человека. Они, разумеется, требуют корректировки. Думаю, что не следует преувеличивать и грекофильские настроения, будто бы набравшие силу в интересующую нас эпоху, во всяком случае, аналогия с итацизмами как критерием безграмотности едва ли напоминает отношение новой генерации русских писцов к работам их

³³ Успенский Б. А. История... С. 185.

³⁴ Живов В. М. История... Т. 2. С. 839.

³⁵ Там же. С. 821-887.

предшественников до начала южнославянского влияния. Ибо несопоставимы, конечно, критерии грамотности в Византии и Древней Руси.

Смею думать, что подобные теории неоправданно экстраполируют греческие и южнославянские явления на древнерусский культурный ландшафт рубежа XIV-XV вв., когда развернулся процесс Второго южнославянского влияния и когда перед реципиентом стоял вопрос о выборе образцов. Если уже, вслед за Живовым, вообще примерять к работе русских книжников идеи «Сказания о писменех» (хотя это явно противозаконная операция), едва ли стоит подгонять под его «русоцентрическую» концепцию генезиса славянского языка подлинные факты восточнославянской орфографии. Тогдашние обозначения языков и процедур, проделываемых с языками (включая перевод)³⁶, весьма далеки от эмпирической реальности. Уместно здесь напомнить о существовании довольно обширной группы памятников, преимущественно южнославянского происхождения, в выходных сведениях которых прямо заявляется, что они переведены на «русский» язык³⁷. Понятно, что речь идет не о языковой реальности, а о репутации. Авторитет книги имел на Руси колоссальное значение для ее собственной судьбы и для судьбы заключенных в ней текстов. Но, во всяком случае, в изучаемую эпоху он определялся не языковым изводом в чистом виде (ср., впрочем, критическое отношение к сербской орфографии), а авторитетом автора, переписчика, сакральностью места, где была создана книга. О каких-то «правилах» (как теперь считают, это были «Тактикон» и «Пандекты» Никона Черногорца), вывезенных Саввой Тверским с Афона, русские канонисты помнили два века спустя³⁸. Реноме Киприана санкционировало безупречность помеченных его именем книг, а изготовление копий со святогорских «Лествиц» (одна из них — Евсевия-Ефрема), хранившихся в Волоколамском монастыре, специально оговаривается в описи, видимо, как гарантия исправности этих копий³⁹. Вообще, на мой взгляд, для того, чтобы инициировать на Руси в XV в. глобальный переход к новой орфографии, не было нужды в большом количестве образцов, достаточно было образцов авторитетных.

Полагаю, что мнение о закреплённом сводом правил особом статусе южнославянских языковых изводов и оформленных по их орфографическим нормам памятников окончательно дезавуируется переносом реформированной графико-орфографической системы с корпуса памятников, поступивших на Русь в результате Второго южнославянского влияния, на тот репертуар текстов, который унаследован был от предыдущих веков развития древнерусской книжности. Если бы, как того хочет Живов, к русской письменности XV в. применима была болгарская модель языковой динамики и если бы русские начетчики целенаправленно воплощали в жизнь рецепты «Сказания о писменех», «испорченную» литературу прежних столетий надлежало бы отправить

³⁶ См.: Goldblatt H. *Orthography and Orthodoxy: Constantine Kostenečki's Treatise on the Letters (Skazanie iz'javljénno o písmenex)*. Firenze, 1987. P. 33-35 (Studia Historica et Philologica. Vol. 16).

³⁷ *Соболевский А. И.* Южнославянское влияние... С. 36-37 (Приложение VII). К контекстам, собранным здесь, следует добавить запись о переводе Слова постнического Максима Исповедника упоминавшимся уже Иаковом Доброписцем «от греческа языка на русский».

³⁸ Буланин Д. М. Афон... С. 453.

³⁹ Описание книг Иосифо-Волоколамского монастыря 1545 г. С. 31. Характерно для той эпохи, когда составлялась опись, что упоминавшуюся выше сербскую «Лествица», принадлежавшую тому же монастырю, считали неисправной и даже запрещали давать на прочтение (в XVII в.). С этой сохранившейся до наших дней «Лествицы» (РГБ, собр. Иосифо-Волоколамского мон., № 463) копий не делалось. В итоге представленная в рукописи № 463 редакция перевода вообще не отразилась в русских списках — их не известно ни одного (Саенко Л. П. К истории славянского перевода текста Лествицы Иоанна Синайского // *Palaeobulgarica*=Старобългаристика. 1980. Т. 4. Кн. 4. С. 19-24; Попова Т. Г. Лествица... С. 170-172, 179-180).



в утиль, т. е. воспользоваться опытом тырновской книжной справы. Вместо такой решительной расправы с прошлым, наши книжники, свыкшиеся в конце концов с искусственным правописанием на тырновской основе, применили его ко всему массиву текстов, будь то сочинения и переводы, находившиеся в обращении на Руси до начала Второго южнославянского влияния, или их собственные литературные упражнения в разных жанрах, сочинявшиеся на протяжении всего XV в. Это их решение, каковы бы ни были его причины, имело непреходящее значение для сохранения с трудом обозримого множества литературных памятников предшествующих столетий, как собственно древнерусских, так и возникших на более раннем этапе развития славянских литератур — великоморавских, болгарских, чешских⁴⁰. На русской почве имела место в XV в., по выражению Турилова, «гибридизация» всего корпуса текстов, накопившегося у нас за первые четыре века бытования у восточных славян кириллической письменности, с тем корпусом, которым прежний багаж пополнился за счет Второго южнославянского влияния. Инструментом «гибридизации» послужил письменный язык, противопоставленный разговорному, главным образом, на уровне орфографии, и ориентированный на болгарские модели, узаконенные болгарской книжной справой. А результатом «гибридизации» явилось то, что XV в. стал первым в истории русской литературной культуры периодом, репрезентативным для суждений о ее репертуаре, оригинальном, как и переводном, начиная с самых истоков этой культуры, т. е. с момента присоединения Руси к семье христианских народов. Определение XV в. как первого репрезентативного столетия равноценно признанию неполноценности того корпуса текстов, который дошел до нас в русских рукописях XI–XIV вв.⁴¹ Это положение нуждается в пояснениях.

Старший период древнерусской литературы немислимо было бы реконструировать, опираясь на фонд рукописей в пределах до конца XIV в. Достаточно сказать, что в списках не ранее XV в. дошел до нас полный текст Слова митрополита Илариона, а также Память и похвала князю Владимиру, Ипатьевская летопись, послания митрополита Никифора, и многое-многое другое. Но особенно сильно впечатление производит набор древнейших славянских переводов, в том числе выполненных в «золотой век» болгарской литературы, которые, иногда частично отразившись в ранних текстах и компиляциях, а иногда нигде больше не оставив следа, неожиданно в полном виде всплывают в русских списках XV–XVI вв. Таковы, если брать только крупные произведения, слова против ариан Афанасия Александрийского в переводе Константина Преславского, «Богословие» Иоанна Дамаскина («Небеса») в переводе Иоанна Экзарха, «Андрианты» Иоанна Златоуста, Римский патерик, «Христианская топография» Козмы Индикоплова, «Хронографическая Александрия», «История Иудейской войны» Иосифа Флавия, «Физиолог», не говоря уже о внушительном списке отдельных житийных, гомилетических и учительных сочинений⁴². Список

⁴⁰ Турилов А. А. Болгарские литературные памятники эпохи Первого царства в книжности Московской Руси XV–XVI вв.: (Заметки к оценке явления) // Турилов А. А. Межславянские культурные связи... С. 199–219. Ср. еще размышления на эту тему: Буланин Д. М. Традиции и новации в интерпретации русской письменной культуры первых веков: Заметки к переводу книги С. Франклина «Письменность, общество и культура в Древней Руси: (около 950–1300 гг.)». СПб., 2010. С. 61–72.

⁴¹ Исчерпывающие сведения о корпусе см.: Каталог памятников древнерусской письменности XI–XIV вв.: (Рукописные книги) / Отв. ред. Д. М. Буланин. СПб., 2014.

⁴² Некоторые исследователи делят древние переводы на болгарские и восточнославянские. Применительно к рассматриваемой сейчас эпохе это спорное деление не имеет значения. Подробно см.: Пичхадзе А. А. Переводческая деятельность в домонгольской Руси: Лингвистический аспект. М., 2011.

этот, даже если бы мы перечислили все заглавия, — в любом случае оказался бы неполным, потому что датировка и локализация древних славянских переводов остается еще самым неразработанным разделом медиевистики. Возникают недоуменные вопросы: где же находились все эти тексты на протяжении нескольких веков? что побудило извлечь их из небытия начетчиков XV в.? Куда пропали оригиналы переводов, с которых они снимали копии? Пытаясь разобраться с этой непростой задачей, Турилов в упомянутой работе критикует некоторые проскальзывавшие на сей предмет идеи, например, о том, что Второе южнославянское влияние способствовало переходу на восток славянского мира не только новых переводов и редакций, но и древнейших памятников болгарской книжности (оригинальных и переводных). Гипотеза отвергается по ряду причин. Помимо прочего, такому предположению противоречит то обстоятельство, что в письменности Второго болгарского царства произошла замена древнего литературного пласта новым. Значит, в XV в. Болгария не могла быть поставщиком древнеболгарских текстов. «Памятники болгарской литературы древнейшего периода еще в домонгольское время прочно вошли в состав древнерусской книжности, и именно по этой причине широко распространились в возрожденной традиции Московской Руси — вывод банальный, но его трудно оспорить», — таков вердикт исследователя.

Заключение несомненно верное, но не разъясняющее некоторые детали. Едва ли, например, безусловно присутствующее в литературе и в культуре XV в. стремление осмыслить прошлое своей страны и своего народа (в этом причина обращения к киевскому наследию)⁴³, заметное даже на фоне поднявшейся тогда новой волны интереса к истории человечества в целом, может объяснить желание книгописцев снять копии с архаических переводов патристики или византийских житий. По-видимому, здесь действовали те же побудительные причины, которые вызвали Второе южнославянское влияние. То есть потребность в книгах со стороны учрежденных и продолжающих учреждаться монастырей. На те же самые запросы русская письменность откликнулась не только переносом новых переводов и редакций, в изобилии генерировавшихся тогда на Балканах, но и переоформлением по правилам новой орфографии уже существовавших архаических текстов. Это и есть «гибридизация», в результате которой в рукописях, в одинаковом графико-орфографическом облике, часто обращались на равных правах старые и новые переводы тех же самых произведений.

Остается решить вопрос, что представляли собой оригиналы древних текстов и что случилось с этими оригиналами после того, как они послужили исходным материалом для переписчиков, работавших по новым орфографическим правилам. Коль скоро мы приняли общее заключение Турилова, есть все основания считать, что антиграфы памятников, сохранившихся в списках не ранее XV в., были русскими, а не южнославянскими. Но поскольку они несомненно использовали традиционную для Руси графико-орфографическую систему, принятую до конца XIV в., с присущими ей особенностями, они уже не представляли в глазах наших предков, перешедших на новые правила, большой ценности, хранились не столь бережно, как копии, находившиеся в эксплуатации. Надо, конечно, понимать, что древность книг, в отвлечении от их конфессиональной значимости, не являлась тогда абсолютным достоинством. Не говоря уже об относительности понятий о древности. Констатировав дискриминацию «неправильных», хотя и более древних книг-антиграфов, не будем пускаться в дальнейшие догадки по поводу обстоятельств их гибели, скорее всего, непреднамеренной.

⁴³ Говоря о реставрационных тенденциях в русской культуре, Турилов ссылается на работы А. Д. Седельникова и Д. С. Лихачева (*Седельников А. Д. Несколько проблем по изучению древней русской литературы: Методологические наблюдения // Slavica. 1929-1930. Vol. 8. С. 503-525; Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X-XVII веков: Эпохи и стили. Л., 1973. С. 113-120*).



Сам факт гибели не вызывает сомнений, ибо иным путем не объяснить чудесную реанимацию трудов Константина Преславского или Иоанна Экзарха в рукописях XV в. без осязаемых промежуточных звеньев, воспроизводящих тексты пятисотлетней давности. Однако сделаем для себя некоторые выводы. Дошедший до нас корпус древнерусских рукописей XI–XIV вв. с включенными в них текстами составляет малую часть от той книжной массы, какая на самом деле находилась в обращении в первые столетия русской письменности. Само по себе такое утверждение было бы трюизмом, если бы мы не могли его конкретизировать следующим образом: структура этого корпуса древнейших книг заведомо дефектна в тех отделах, где старые русские списки брались за основу при копировании какого-то текста по реформированным правилам орфографии. Потому что новоизготовленные копии естественным образом вытесняли из обихода старые, признававшиеся «испорченными». Эти последние могли сохраниться только по счастливой случайности. Несложно предположить, что чаще всего подобная замена происходила в монастырях, бывших на тот период главными хранителями книжных ценностей.

Разобравшись с результатами триумфального шествия реформированной орфографии, вернемся к начальному периоду ее усвоения. И здесь я позволю себя сформулировать гипотезу, которую дальнейшие исследования могут подтвердить или опровергнуть. Как мне представляется, ничтожность документальных свидетельств о Втором южнославянском влиянии в значительной степени объясняется тем, что свидетельства эти касаются последнего всплеска процесса, который начался значительно раньше, нежели обычно предполагается. Существование упоминавшейся уже группы русских кодексов конца XIV — начала XV в., в которых представлены новые болгарские переводы с русифицированной орфографией, позволяет думать, что через этот этап русификации прошло большинство произведений, полученных на Руси в результате Второго южнославянского влияния. Моя гипотеза, передвигающая высшую точку взаимодействия двух культур на последние десятилетия XIV в., хорошо согласуется с тем, что с этим именно столетием связан по всем параметрам транслировавшийся корпус памятников. Наличие же второго этапа, когда перенесенный корпус памятников обрел удовлетворяющую строгим конфессиональным критериям и соответствовавшую авторитетным образцам орфографическую обработку, позволяет ответить на вопрос, почему кодексы с русифицированной орфографией сохранились столь выборочно. Положение вещей здесь, думается мне, аналогично тому, что мы видели в отношении старых списков из старого репертуара древнерусской письменности, независимо от происхождения составляющих частей этого репертуара (восточнославянский раздел и болгарский с писаниями времен Первого царства — главные составляющие). Как мы помним, при появлении копий, отвечавших языковым требованиям новой эпохи, эти старые списки вытеснялись из обихода. То же имело место с русифицированными списками, переписанными с новых балканских переводов и редакций: появление на втором этапе влияния тех же переводов и редакций в надлежащем оформлении отодвигало ранние «неправильные» копии на второй план. Судьба большинства из них была тем самым предрешена.

Как было сказано, перенос орфографии с оригиналов, хотя и происходил с опозданием, иногда очень значительным, не мог в итоге не свершиться, потому что орфография не была автономным компонентом книги как сакрального предмета. Вместе с тем (об этом тоже говорилось), нет необходимости предполагать, что для запуска орфографической реформы необходимо было иметь многочисленные прескриптивные прописи. Полагаю, что процесс мог начаться по распоряжению авторитетного иерарха, вроде митрополита Киприана, а образцами для подражания вполне могли служить многочисленные «Лествицы», в том числе копированные с константинопольского

списка Киприана 1387 г. О том, что развитие реформы могло протекать таким именно образом, свидетельствует известная рукопись БАН, собр. Тимофеева, № 9, содержащая тверскую «Лествицу» 1402 г., с записью, где говорится, будто кодекс представляет собой апограф с «Лествицы» Киприана. Хотя сейчас установлено, что эти сведения недостоверны, и хотя рукопись № 9 входит в разряд русифицированных, запись о ее доставке в Тверь священноиноком Прохором служит иллюстрацией того, каков мог быть сам механизм реформы. В текстологии древнерусской литературы известны и другие примеры, когда свободное развитие нормативных памятников сдерживается необходимостью постоянно оглядываться на некий авторитетный стандарт, сверяться с шаблоном. Таков случай со «Степенной книгой»: ее списки, признававшиеся эталонными, хранились в монастырях, которые служили идеологической опорой действующей власти (Троицкий, Чудов)⁴⁴. При подобном маневре, в частности, сам собой возводился барьер против распространения нежелательных элементов, касалось ли дело орфографических приемов или идеологической диверсии. В рассматриваемую эпоху нежелательным элементом была традиционная русская и подвергнутая остракизму сербская орфография (снова вспомним колофон Олешки Палкина). О том, что наводит порядок в орфографии не означало в то время следовать некоей общей лингвистической инструкции (как это мыслится Б. А. Успенским и В. М. Живовым), что выправка письма происходила на средневековый манер — через подражание образцу (образцам), говорят случаи «превышения нормы», когда некоторые писцы чрезмерно болгаризируют правописание, например, возрождают «юс большой»⁴⁵. О том же говорят примеры относительно раннего распространения новых орфографических норм на издавна известные на Руси тексты, например, на нравоучительные статьи из русских редакций Пролога⁴⁶.

Предложенное мной смещение назад главных хронологических вех Второго южнославянского влияния служит, думаю мне, лишь одним из объяснений того, почему современные источники столь скупо освещают обсуждаемый феномен. Есть тому и другие причины, например, наши гипертрофированные представления об объеме воспринятых тогда на Руси новых балканских памятников. Для оценки этого объема обыкновенно прибегают к соответствующему списку, приложенному к цитированной работе Соболевского⁴⁷. Внося поправки и одновременно дополняя этот список, Турилов тут же предлагает параллельный перечень той литературной продукции южных славян, которая прошла мимо внимания их собратьев на востоке. Сюда входят отдельные произведения и целые книги, сборники устойчивого состава, разные переводы с одного оригинала, так что в итоге количество пропущенного едва ли сильно уступает количеству полученного в результате влияния⁴⁸. Из-за того, что большинство переводов, как пропущенных, так и полученных, остаются неизученными, у нас нет возможности дополнить количественные пропорции развернутыми сопоставлениями

⁴⁴ Буланин Д. М. Судьба «Степенной книги» в русской литературе и историографии XVI-XVIII веков // Русская литература. 2012. № 4. С. 223.

⁴⁵ Наиболее выразительный пример — книги, переписанные известным иеромонахом Серапионом (Левшина Ж. Л. «Болгаризированное» письмо русского книжника первой половины XV века Серапиона и Второе южнославянское влияние // Очерки феодальной России. М.; СПб., 2013. Вып. 16. С. 39-47).

⁴⁶ Турилов А. А. Восточнославянская книжная культура... С. 548, примеч. 62.

⁴⁷ Соболевский А. И. Южнославянское влияние... С. 15-23 (Приложение I).

⁴⁸ Турилов А. А. Южнославянские переводы XIV-XV вв. ... С. 556-662. С другой стороны, Турилов перечисляет группу небольших по объему текстов, которые считаются южнославянскими переводами, но которые сохранились только в русских списках (Там же. С. 559). Южнославянское происхождение некоторых из них нуждается в серьезных доказательствах.



отдельных текстов, имеющих одновременно в южнославянских и в русских списках. Тем не менее, есть несколько случаев, иллюстрирующих провалы именно в восточнославянской традиции. Первый — это «Паралипомен», сокращенная переработка Хроники Иоанна Зонары, которой противостоит полный перевод произведения, известный только в южнославянских списках (пример не без натяжки, потому что «Паралипомен» пришел в русскую литературу с более поздней волной южнославянского влияния)⁴⁹. Второй — «третья редакция» сборника шестнадцати слов Григория Богослова с толкованиями Никиты Ираклийского, с которой мы начали свой рассказ. Если в южнославянских списках распространялся современный перевод толкований ко всем шестнадцати словам («третья южнославянская редакция»), на Русь в протографическом кодексе Кассиана Румянцева попали толкования только к первым восьми словам. В целом нельзя не признать справедливость вывода исследователя: «Применительно к южнославянскому переводному наследию XIV–XV вв. восточнославянская традиция выглядит одной из равноправных младших ветвей (и при этом не самой богатой среди них и наиболее «усредненной»), наряду с общебалканской ресавской и славяно-румынской (в валашском и молдавском вариантах)»⁵⁰.

Продолжим наши размышления о «незримости» процесса южнославянского влияния. Есть еще одна примечательная черта, которой отмечено взаимодействие двух литературных традиций в пору Второго южнославянского влияния, но которая характерна и для других эпизодов, когда книжные богатства переносились из одной части славянского мира в другую. Как давно уже было отмечено в историографии⁵¹, переносились памятники общехристианского содержания («литература-посредница», в терминологии Д. С. Лихачева), лишенные местной специфики, и такое положение вещей делало обыкновенно ненужными подробные сведения об источнике происхождения отдельно взятого сочинения, перевода или целой книги. Эти книги были в большей степени безадресными, нежели литературная продукция местного производства, даже принимая в расчет, что последняя тоже была склонна к абстрагированию⁵². Безуспешные розыски следов, какие бы оставило движение книжного корпуса с юга на восток, велись уже и продолжают вестись в отношении того, что теперь принято называть «Первым южнославянским влиянием»⁵³. То есть о процессе рецепции только что просвещенной крещением Русью памятников славянской письменности, преимущественно болгарской эпохи «золотого века», какие были написаны и переведены со времен создания алфавита первоучителями Кириллом и Мефодием. Внушительное количество этих памятников, за малым исключением переводных, резко дисгармонировало с ненарушимым молчанием источников о средствах их получения восточными славянами, сея сомнения и неверие в смущенных сердцах славистов. Единственная книга за XI–XIII вв., о пересылке которой на Русь есть современное известие, — это запрошенная митрополитом Кириллом у болгарского деспота Святослава Сербская Кормчая. О проникновении к восточным славянам других текстов, добытых едва ли не контрабандой, долгое время ученые вынуждены были строить

⁴⁹ О судьбе Хроники у южных славян см.: Турилов А. А. Заметки о славянской рукописной традиции Хроники Иоанна Зонары // *Летописи и хроники: Новые исследования*. 2015-2016 гг. М.; СПб., 2017. С. 3-11.

⁵⁰ Турилов А. А. Южнославянские переводы XIV-XV вв. ... С. 558-559.

⁵¹ См., например: Лихачев Д. С. Развитие... С. 35-39; История русской переводной художественной литературы: Древняя Русь. XVIII век. Т. 1: Проза. СПб.; Köln; Weimar; Wien, 1995. С. 19 (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe A: Slavistische Forschungen. N. F. Bd. 13/73) (автор — Д. М. Буланин).

⁵² Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. М., 1979. С. 102-111.

⁵³ Ср. о термине: Успенский Б. А. История... С. 21.

разные остроумные предположения. Сейчас, когда историки научились подходить к культуре прошлых столетий с ее собственными мерками, эта тайна представляется не столь уже таинственной. Нет никакого сомнения, что все письменное наследие предшествующей эпохи рассматривалось представителями *Slavia Orthodoxa* как общее достояние всех православных славян. Видеть в Первом южнославянском влиянии единовременный и кем-то регулируемый процесс означает приписать нашим предкам модернизированное представление о книге, как главном вместилище отвлеченных человеческих знаний, пускай даже сугубо религиозных, — знаний, которые подлежали методичному и целенаправленному овладению. Подобных мыслей у новопросвещенных жителей Киевской Руси, разумеется, не зарождалось, а в связи с неприятием школ как социального института не было и инстанции, которая могла бы пропагандировать такие абстрактные идеи⁵⁴. Болгарским книжным памятникам не приходилось изыскивать никаких особых путей, чтобы попасть на территорию Руси, поскольку они оказались там единственным законным способом — в результате распространения сферы их действия. Они приносились или переписывались русскими грамотеями по мере возникновения надобности, будучи составными частями их собственной книжной культуры. Другое дело — что надобность возникла не сразу, так что и актуализация общеславянской «литературы-посредницы» растянулась на долгое время и ощущалась на широких просторах Восточноевропейской равнины неравномерно. Для совершения треб в Десятинной церкви — первой из построенных князем Владимиром — не могло возникнуть желание у ее служителей, да и не было никакой потребности — заводить такое непонятное для едва принявших крещение язычников учреждение, как библиотека. Довольно было нескольких служебных кодексов. Позднее, при князе Ярославе, когда ясно обозначились эмулятивные по отношению к Византии тенденции (имитация Константинополя на Днепре)⁵⁵, специально для княжеского дворца или дворцовой церкви могло быть изготовлено несколько роскошных кодексов, вроде Изборника 1073 г. Быть может, именно о них идет речь в пресловутой летописной статье 1037 г.⁵⁶ При этом нет даже нужды заключать отсюда, что эти кодексы предназначались для чтения, а не для украшения интерьера в качестве артефактов, воспроизводящих византийскую обстановку.

Однако свято место пусто не бывает. Историки прежней школы склонны были опрокидывать политическую историю, препарированную по социологическим лекалам XIX–XX вв., на историю культуры. Коль скоро в XI в. Первое болгарское царство перестало существовать, и коль скоро, с другой стороны, тогда именно Киевская Русь приобщалась к традициям христианской культуры, с легкостью делался вывод, что болгарские книжные богатства перекочевали из одной страны в другую. И дальше: коль скоро, по сообщению летописи, собранные Ярославом писцы «прекладаше от грек на словенское писмо», дело ясное: киевские библиотефилов занялись приумножением доставшихся им богатств. В 1897 г. появился первый вариант статьи А. И. Соболевского «Особенности русских переводов домонгольского периода», в 1910 г. статья была переиздана в дополненном виде⁵⁷. Этой статье, где автор, главным образом опираясь на показания лексики, пытался отделить древние киевские

⁵⁴ Буланин Д. М. Античные традиции в древнерусской литературе XI–XVI вв. München, 1991. С. 265–272 (*Slavistische Beiträge*. Bd 278).

⁵⁵ Франклин С., Шепард Д. Начало Руси: 750–1200. СПб., 2000. С. 304–315.

⁵⁶ Последнее по времени обсуждение летописной статьи см.: Живов В. М. История... Т. 1. С. 91–93.

⁵⁷ Соболевский А. И. Особенности русских переводов домонгольского периода // Труды IX археологического съезда в Вильне. М., 1897. Т. 2. С. 53–61; То же // Соболевский А. И. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. СПб., 1910. С. 134–147



переводы от болгарских, суждено было сыграть фатальную роль в дальнейших разысканиях по данному вопросу. Хотя до сих пор никто не нашел строгих критериев для дифференциации древнейшего свода славянских переводов на обособленные части по национальному признаку (потому что сама мысль о национальном обособлении была вполне чужда средневековой культуре), баталии об объеме киевского переводного наследия, нередко подогретые откровенно политическими мотивами, уже более ста лет сотрясают палеославиистику. Но историографическое мифотворчество, игнорирующее культурную дистанцию, ухитрилось сочинить авантюрные теории, смелость которых оставляет далеко позади малодостоверные списки киевских переводов, составленные Соболевским и его преемниками. Толчком к мифотворчеству послужило наличие среди древнейших русских книг трех парадных фолиантов с миниатюрами, изображающими владетельных особ, как небезосновательно считается, восходящих к болгарским оригиналам (помимо упомянутого Изборника 1073 г., это рукописи «Учительного Евангелия» Константина Преславского и «Слова об Антихристе» (сопровождаемого другими текстами) Ипполита Римского). На следующем этапе развития легенды утверждается, что оригиналы трех рукописей принадлежали библиотеке болгарских царей. Далее возникает законный вопрос, каким образом оригиналы оказались в руках киевских князей. На сей предмет существует много версий: согласно одной, книги привезла из Константинополя княгиня Ольга, согласно другой — они были взяты в качестве трофея князем Святославом. Иные полагают, что библиотека была захвачена византийцами и отдана князю Владимиру в качестве приданого при его браке с Анной, иные — что книги достались киевлянам, участвовавшим в окончательном разгроме Болгарии, и проч.⁵⁸. Такого рода теории пренебрегают тем, что неграмотный язычник Святослав едва ли польстился бы на такое добро, и тем, что на другой день после принятия крещения Владимир, наверное, был бы крайне раздосадован таким подарком, и тем, наконец, что книги, мягко говоря, никогда не были самой желанной добычей на войне, и проч. Но миф живет уже своей жизнью: учитывая, что болгарские оригиналы ни одной из трех книг не сохранились (хотя не сохранились аниграфы и десятки других древнейших книг!), А. А. Алексеев делает глубокомысленный вывод, что все три должны были погибнуть на Руси при одном и том же катаклизме⁵⁹. Впрочем, пора, наверное, оставить мифы в покое и вернуться к более прозаическим материям.

Итак, существование общеславянской «литературы-посредницы» предопределило то, что феномен Первого южнославянского влияния предстает перед нами только в виде конечного результата, в то время как конкретное развитие этого феномена, скорее всего, останется для нас навсегда скрытым. Если мы обратимся теперь к следующему по времени этапу взаимодействия русской и южнославянской письменности, который отмечен явлением, получившим, кажется, впервые под пером Х. Микласа название «Первого восточнославянского влияния»⁶⁰,

(СОРЯС. Т. 88. № 3). Ср. современное переиздание работы в кн.: *Соболевский А. И. История русского литературного языка*. Л., 1980. С. 134-147.

⁵⁸ Краткий перечень подобных занимательных историй, со ссылками на литературу, см.: Thomson F. J. *The Bulgarian Contribution to the Reception of Byzantine Culture in Kievan Rus': The Myths and the Enigma*. *Harvard Ukrainian Studies*, 1988/1989, Vol. 12/13: Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'-Ukraine, pp. 237-238; *Живов В. М. История...* Т. 1. С. 93.

⁵⁹ Этот сиквел Алексеева известен мне в пересказе Турилова (*Турилов А. А. Болгарские литературные памятники...* С. 201).

⁶⁰ Miklas H. *Kyrillomethodianisches und nachkyrillomethodianisches Erbe im ersten ostslavischen Einfluss auf die südslavische Literatur*. *Symposium Methodianum: Beiträge des Internationale Tagung*

мы увидим картину, во многом сходную с тем, что мы наблюдали при обсуждении обстоятельств Первого южнославянского влияния. Первое восточнославянское влияние как реальный факт обмена текстами между родственными литературами был обстоятельно описан, с многочисленными примерами, М. Н. Сперанским⁶¹, Потом об этом писал в цитированной работе Миклас. Собранные ими материалы существенно дополнены в последнее время Туриловым⁶². Хронология влияния примитивным образом выводится из ключевых политических событий (возрождение болгарской и сербской государственности, с одной стороны, татарское нашествие, с другой стороны), так что нуждается еще в осмыслении. Не ставя перед собой цели анализировать привлеченные к разработке конкретные памятники, позволю себе все же заметить, что Первое восточнославянское влияние опознается, сравнительно с тем, что мы наблюдали в предыдущие столетия в Киевской Руси, как явление значительно менее контрастное. Тому есть объективные причины: если восточнославянская письменность, особенно на начальном этапе своего развития, представляла собой *tabula rasa*, то письменная традиция на Балканах существовала с IX в. (византийское завоевание Болгарии не означало перерыва этой традиции), поэтому русские тексты приходили на удобренную почву и различить их в общей массе совсем нелегко. Соответственно, наиболее надежными примерами Первого восточнославянского влияния являются найденные в южнославянских списках оригинальные киевские тексты (сочинения митрополита Илариона, Феодосия Печерского, Кирилла Туровского, и др.). Могут быть случаи, когда древние славянские переводы, рано перешедшие на Русь, возвращались оттуда на Балканы с русскими добавками или многократно кочевали в том и другом направлении (такова ситуация с Прологом). Наиболее слабым звеном в перечне фактов влияния остаются, конечно, переводы, которые начал привлекать в данном контексте уже Сперанский (миграция перевода «Пчелы» и др.). Поскольку локализация переводов остается у нас на уровне предположений, включение их в факты Первого восточнославянского влияния оказывается предположением второго уровня. Для нас сейчас Первое восточнославянское влияние интересно как новая иллюстрация идеи культурной общности, которая не угасала в представлениях единоверных славян, и которая успела уже столь полно проявиться при Первом южнославянском влиянии. Как и в том случае, это все были произведения общехристианской тематики, входившие в значительно пополненную за прошедшие годы «литературу-посредницу». Не приходится удивляться, что не осталось ровным счетом никаких свидетельств о движении памятников письменности в обратном направлении — с востока на юг, ведь эти памятники представляли собой по-прежнему общеславянское достояние⁶³.

in Regensburg zum Gedänken an den 1100. Todestag des hl. Method, Neuried, 1988, S. 437-471 (Selecta Slavica. Bd 13).

⁶¹ Сперанский М. Н. 1) К истории взаимоотношений русской и югославянских литератур: (Русские памятники письменности на юге славянства) // Сперанский М. Н. Из истории русско-славянских литературных связей. М., 1960. С. 7-54; 2) Русские памятники письменности в югославянских литературах XIV-XVI вв. // Там же. С. 55-103.

⁶² Турилов А. А. 1) Памятники древнерусской литературы и письменности у южных славян в XII-XIV вв.: (Проблемы и перспективы изучения) // Турилов А. А. Межславянские культурные связи... С. 239-261; 2) Из истории русско-южнославянских книжных связей XII-XIII вв.: Новое и забытое // Там же. С. 262-285. Исчерпывающую библиографию см.: ПЭ. М., 2007. Т. 16. С. 162-171 (автор — А. А. Турилов).

⁶³ По поводу отсутствия прямых исторических свидетельств Первого восточнославянского влияния особенно горько сетует Турилов (Турилов А. А. Памятники древнерусской литературы и письменности... С. 239).



Наше затянувшееся отступление вглубь веков от обсуждаемой темы — Второго южнославянского влияния отнюдь не произвольно. Напомню, что поводом для отступления послужило обсуждение причин «незримости» процессов Второго южнославянского влияния, о котором мы в значительной степени судим по его плодам, не имея почти никаких сведений о средствах транспортировки текстов. Одной из важных причин, обусловивших такую «незримость», несомненно является, как и на предыдущих стадиях развития литературы (Первое южнославянское влияние, Первое восточнославянское влияние), удержавшееся в культуре сознание общности письменного наследия всех православных славян. На восток славянского мира, как и при прежних встречах двух традиций, переходила классика христианской литературы, обмен и теперь совершался в рамках «литературы-посредницы». Именно поэтому (помимо других рассмотренных выше причин) книжники рубежа XIV–XV вв. чаще всего не считали нужным оставлять сведения о происхождении отдельно взятого текста или книги. Стойкость сложившейся веками культурной парадигмы в изучаемую эпоху — отчетливо выраженного сознания этно-конфессионального родства — поистине достойна удивления. Ибо эта парадигма сохраняет свой вес, несмотря на явное безразличие тогдашних русских источников (летописей) к перипетиям политической истории южнославянских государств, включая катастрофические для балканских стран итоги XIV в., вопреки нарастаю диспаритету в объеме литературного фонда местного значения, наконец, невзирая на задержки и загвоздки, возникавшие при переносе в новую среду разработанных болгарами и сербами нормализованных систем орфографии.

Как мне представляется, можно даже вывести формулу обратной связи, а именно: как отсутствие сведений о процессе взаимодействия родственных литературных культур есть следствие их общности, по крайней мере, в сознании носителей этих культур, так точно и появление относительно вразумительных и адресных данных об обстоятельствах, или хотя бы о предназначении каждого акта книжного обмена есть симптом того, что литературное развитие у разных представителей в семье единоверных славян пошло своим индивидуальным путем. В этом отношении полезно сравнить однотипную, как мы видели, ситуацию в хронологических пределах до середины XV в. с фактами межславянского взаимодействия более позднего времени. На первом месте в ряду этих фактов стоит, конечно, упомянутая выше компактная группа сербских текстов исторического или псевдоисторического содержания, которая отчасти привлекалась к работе в русских исторических компиляциях, утверждавших достоинство возвышающегося Московского царства, отчасти же сопутствовала осмыслению исторического прошлого всего человечества, которым отмечено развитие русской культуры конца XV — XVI вв. Речь идет, прежде всего, о сборнике Ферапонта Обухова РГБ, собр. Иосифо-Волоколамского мон., № 655, содержащем, наряду с житиями Стефана Лазаревича, Стефана Дечанского и Илариона Мегленского, переводы «Паралипомена» Зонары и фрагментов из «Сербской Александрии». Хотя сборник № 655 уже никто не считает сербским, отдельные его части сохранили явные следы сербского антиграфа (антиграфов), другие, как видно, русифицировались непосредственно переписчиком рукописи⁶⁴. Все перечисленные тексты активно использовались при создании Русского Хронографа. Еще одним важнейшим источником Хронографа явилась Хроника Константина Манассии в болгарском переводе. Хотя список Хроники, с которым работали составители русского свода, утрачен, есть веские основания предполагать, что на каком-то раннем этапе развития русский извод перевода был сверен

⁶⁴ Турилов А. А. К вопросу о периодизации русско-южнославянских литературных связей XV — начала XVI в. // Турилов А. А. Межславянские культурные связи... С. 584-595.

по сербскому. Исследовательница перевода не исключает даже, что архетип русского извода был переписан сербом⁶⁵. Между прочим, в утраченный список перевода был вставлен особый рассказ о Троянской войне «Притча о кралех» — сербский по происхождению. Еще в XV в. в русскую письменность перешла «Сербская Александрия», поздняя версия романа об Александре Македонском псевдо-Каллисфена. Хотя архетип русской редакции произведения не сохранился, ближайшие к нему списки (в том числе список Ефросина Белозерского), все восходящие к одному протографу, демонстрируют серьезные отличия от фрагментов в сборнике Ферапонта Обухова. Можно поэтому думать, что «Сербская Александрия» поступала в московскую письменность дважды в отличных друг от друга вариантах. Обращение к «Сербской Александрии» составителей все того же Хронографа — давно установленный факт, остается выяснить, каким из вариантов (или тем и другим одновременно?) они пользовались. Наконец, источником Хронографа послужило также Житие Саввы Сербского, доставка его в Москву старцем Исайей в 1517 г. отмечена летописью как особенно знаменательное событие. В конце XV в. появляется в русской письменности еще один исторический текст, пришедший к нам по проторенной дороге с юга на северо-восток — «Повесть о Дракуле». Во второй половине XV–XVI вв., почти всегда через сербов, оживляются связи Москвы с Афоном, что нашло отражение и в двух псевдоисторических циклах афонских легенд, и в нескольких рассказах об афонских святынях⁶⁶.

На первый взгляд, перечисленные факты можно, пожалуй, собрать под одной шапкой очередного южнославянского влияния. Такое решение было бы принципиально ошибочно, потому что культурно-историческое содержание этой встречи разных литературных традиций коренным образом отличается от того, что мы отмечали при обсуждении Первого южнославянского влияния, Первого восточнославянского влияния и, наконец, Второго южнославянского влияния. То были исключительно духовные процессы, не имевшие никакой опоры в государственной политике. Теперь все изменилось. Представленные только что факты следует включить в более широкую панораму московско-сербских идеологических контактов, которыми ознаменовалось развитие русской культуры с конца XV в. вплоть до середины XVI в. Эти контакты имели для Москвы первостепенное значение, потому что она воспринимала себя как единственную законную наследницу павшей Византийской империи и конструировала, с помощью гетерогенных компонентов, свою собственную модель священного царства с имперским прицелом. Сербские образцы играли в этой конструкции чрезвычайно ответственную роль⁶⁷. Иными словами, заимствование сербских текстов и псевдоисторических легенд включало в занимающий нас сейчас поздний период русско-славянских связей ясно ощущаемую политическую тенденцию. Закономерно, что и содержание заимствованных сочинений явно выходит за рамки «литературы-посредницы», через которую в предыдущие эпохи передавался от одних славян другим корпус памятников общехристианского содержания. Теперь мы видим совсем другое — обращение вполне обособленной русской культуры, ориентированной на идеологию возвышающегося государства и в целом самодостаточной, к скромным, по мнению Москвы, книжным сбережениям, какими можно было иногда, после тщательной проверки на их конфессиональную доброкачественность, разжиться у единоверных, но утративших свою государственность братьев-славян. Каждый взятый у них текст, как и каждая из стекавшихся теперь в Москву с Балкан

⁶⁵ Салмина М. А. Русский извод Хроники Константина Манассии // Среднеболгарский перевод Хроники Константина Манассии в славянских литературах. София, 1988. С. 50-58.

⁶⁶ Все афонские следы в литературе эпохи подробно анализируются в работе: Буландин Д. М. Афон... С. 428-763.

⁶⁷ Перечень этих образцов см.: Там же. С. 480-494.



христианских реликвий, всегда почти снабжен индивидуальной характеристикой, своей «въездной визой». Нужно ли повторять, что эта ситуация не имеет ничего общего с неосязаемым перемещением крупного блока памятников в годы Второго южнославянского влияния, которое является начальным и конечным пунктом наших рассуждений?

Источники и литература

1. БЛДР. Т. 6: XIV — середина XV века. СПб.: Наука, 1999.
2. Буланин Д. М. Античные традиции в древнерусской литературе XI–XVI вв. München: Verlag Otto Sagner, 1991 (Slavistische Beiträge. Bd 278).
3. Буланин Д. М. Афон в древнерусской письменности до конца XVI в.: (Из истории образа по памятникам, учтенным в «Словаре книжников и книжности Древней Руси», а также пропущенным при его подготовке) // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2: (Вторая половина XIV–XVI в.). Ч. 3: Библиографические дополнения. Приложение. СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. С. 427–763.
4. Буланин Д. М. Житие Афанасия Афонского // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2: (Вторая половина XIV–XVI в.). Ч. 3: Библиографические дополнения. Приложение. СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. С. 635–645.
5. Буланин Д. М. Мифологические толкования к словам Григория Богослова и «Шестоднев» Иоанна Экзарха // ТОДРЛ. Т. 66 (в печати).
6. Буланин Д. М. Судьба «Степенной книги» в русской литературе и историографии XVI–XVIII веков // Русская литература. 2012. № 4. С. 219–224.
7. Буланин Д. М. Традиции и новации в интерпретации русской письменной культуры первых веков: Заметки к переводу книги С. Франклина «Письменность, общество и культура в Древней Руси: (около 950–1300 гг.)». СПб.: Дмитрий Буланин, 2010.
8. Вздорнов Г. И. Роль славянских монастырских мастерских письма Константинополя и Афона в развитии книгописания и художественного оформления русских рукописей на рубеже XIV–XV вв. // ТОДРЛ. Л.: Наука, 1968. Т. 23. С. 171–198.
9. Гальченко М. Г. Второе южнославянское влияние в древнерусской письменности: (Графико-орфографические признаки Второго южнославянского влияния и хронология их появления в древнерусских рукописях конца XIV — первой половины XV в.) // Гальченко М. Г. Книжная культура. Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси: Избранные работы. М.; СПб.: Алетейя, 2001. С. 325–382 (Труды Центрального музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Т. 1).
10. Гальченко М. Г. Лисицкие датированные рукописи конца XIV — первой половины XV в. и проблема Второго южнославянского влияния // Гальченко М. Г. Книжная культура. Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси: Избранные работы. М.; СПб.: Алетейя, 2001. С. 147–166 (Труды Центрального музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Т. 1).
11. Живов В. М. История языка русской письменности. В 2 т. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2017. Т. 1–2.
12. Житие Сергия Радонежского: Пространная редакция / Подгот. А. В. Духаниной. М.; Брюссель: Conference Sainte Trinité; Свято-Екатерининский мужской монастырь, 2015 (Patrologia Slavica. Вып. 3).
13. История русской переводной художественной литературы: Древняя Русь. XVIII век. Т. 1: Проза. СПб.; Köln; Weimar; Wien: Дмитрий Буланин; Böhlau Verlag, 1995 (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe A: Slavistische Forschungen. N. F. Bd 13/73).

14. Каталог памятников древнерусской письменности XI–XIV вв.: (Рукописные книги) / Отв. ред. Д. М. Буланин. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014.

15. Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1. Житие Сергия Радонежского. Рукописная традиция. Жизнь и чудеса. Тексты. М.: Языки русской культуры, 1998.

16. Князевская О. А., Чешко Е. В. Рукописи митрополита Киприана и отражение в них орфографической реформы Евфимия Търновского // Търновска книжовна школа. Т. 2: Ученици и последователи на Евтимий Търновски (Втори Международен симпозиум. Велико Търново, 20-23 май 1976). София: Издателство на Българска Академия на науките, 1980. С. 282-292.

17. Левшина Ж. Л. «Болгаризированное» письмо русского книжника первой половины XV века Серапиона и Второе южнославянское влияние // Очерки феодальной России. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2013. Вып. 16. С. 39-47.

18. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. М.: Наука, 1979.

19. Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков: Эпохи и стили. Л.: Наука, 1973.

20. Никольский Н. К. Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря, составленное в конце XV века. СПб., 1897 (Изд. ОЛДП. № 113).

21. Опись книг Иосифо-Волоколамского монастыря 1545 г. / Публ. Р. П. Дмитриевой // Книжные центры Древней Руси: Иосифо-Волоколамский монастырь как центр книжности. Л.: Наука, 1991. С. 24-41.

22. Пичхадзе А. А. Переводческая деятельность в домонгольской Руси: Лингвистический аспект. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2011.

23. Попова Т. Г. Лествица Иоанна Синайского в славянской книжности. Саарбрюкен, 2011.

24. Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2007. Т. 16.

25. Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2008. Т. 17.

26. Прохоров Г. М. Досифей // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2: (Вторая половина XIV–XVI в.). Ч. 1: А-К. Л.: Наука, 1988. С. 198.

27. РИБ. СПб., 1908. Т. 6. 2-е изд.

28. Саенко Л. П. К истории славянского перевода текста Лествицы Иоанна Синайского // Palaeobulgarica=Старобългаристика. 1980. Т. 4. Кн. 4. С. 19-24.

29. Салмина М. А. Русский извод Хроники Константина Манассии // Среднеболгарский перевод Хроники Константина Манассии в славянских литературах. София: Издательство Болгарской Академии наук, 1988. С. 50-58.

30. Седельников А. Д. Несколько проблем по изучению древней русской литературы: Методологические наблюдения // Slavica. 1929-1930. Vol. 8. С. 503-525, 728-740.

31. Сеницына Н. В. Русское монашество и монастыри: X–XVII вв. // Православная энциклопедия. (Вводный том): Русская православная церковь. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2000. С. 305-324.

32. Соболевский А. И. История русского литературного языка. Л.: Наука, 1980.

33. Соболевский А. И. Особенности русских переводов домонгольского периода // Труды IX археологического съезда в Вильне. М., 1897. Т. 2. С. 53-61.

34. Соболевский А. И. Особенности русских переводов домонгольского периода // Соболевский А. И. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. СПб., 1910. С. 134-147 (СОРЯС. Т. 88. № 3).

35. Соболевский А. И. Южнославянское влияние на русскую письменность в XIV–XV веках // Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV–XVII веков: Библиографические материалы. СПб., 1903. С. 1-37 (СОРЯС. Т. 74. № 1).

36. *Сперанский М. Н.* К истории взаимоотношений русской и югославянских литератур: (Русские памятники письменности на юге славянства) // *Сперанский М. Н.* Из истории русско-славянских литературных связей. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1960. С. 7-54.
37. *Сперанский М. Н.* Русские памятники письменности в югославянских литературах XIV–XVI вв. // *Сперанский М. Н.* Из истории русско-славянских литературных связей. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1960. С. 55-103.
38. *Турилов А. А.* Болгарские литературные памятники эпохи Первого царства в книжности Московской Руси XV–XVI вв.: (Заметки к оценке явления) // *Турилов А. А.* Межславянские культурные связи эпохи Средневековья и источниковедение истории и культуры славян: Этюды и характеристики. М.: Знак, 2012. С. 199-219.
39. *Турилов А. А.* Восточнославянская книжная культура конца XIV – XV в. и «Второе южнославянское влияние» // *Турилов А. А.* Межславянские культурные связи эпохи Средневековья и источниковедение истории и культуры славян: Этюды и характеристики. М.: Знак, 2012. С. 519-555.
40. *Турилов А. А.* Забытые русские святогорцы – Калинин и «филадельф»: (Страничка истории русского книгописания на Афоне в конце XIV – начале XV в.) // МОСХОВИА: Проблемы византийской и новогреческой филологии. Вып. 1: (К 60-летию Б. Л. Фонкича). М.: Индрик, 2001. С. 431-437.
41. *Турилов А. А.* Заметки о славянской рукописной традиции Хроники Иоанна Зонары // *Летописи и хроники: Новые исследования.* 2015-2016 гг. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2017. С. 3-11.
42. *Турилов А. А.* Из истории русско-южнославянских книжных связей XII–XIII вв.: Новое и забытое // *Турилов А. А.* Межславянские культурные связи эпохи Средневековья и источниковедение истории и культуры славян: Этюды и характеристики. М.: Знак, 2012. С. 262-285.
43. *Турилов А. А.* К вопросу о сербском компоненте во «Втором южнославянском влиянии» // *Турилов А. А.* Межславянские культурные связи эпохи Средневековья и источниковедение истории и культуры славян: Этюды и характеристики. М.: Знак, 2012. С. 596-611.
44. *Турилов А. А.* Памятники древнерусской литературы и письменности у южных славян в XII–XIV вв.: (Проблемы и перспективы изучения) // *Турилов А. А.* Межславянские культурные связи эпохи Средневековья и источниковедение истории и культуры славян: Этюды и характеристики. М.: Знак, 2012. С. 239-261.
45. *Турилов А. А.* Южнославянские переводы XIV–XV вв. и корпус переводных текстов на Руси: (К 110-летию выхода в свет труда А. И. Соболевского) // *Турилов А. А.* Межславянские культурные связи эпохи Средневековья и источниковедение истории и культуры славян: Этюды и характеристики. М.: Знак, 2012. С. 556-583.
46. *Успенский Б. А.* История русского литературного языка: (XI–XVII вв.). München: Verla Otto Sagner, 1987 (Sagners Slavistische Sammlung. Bd 12).
47. *Франклин С., Шепард Д.* Начало Руси: 750–1200. Пер. с англ. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000.
48. *Шубаев М. А.* Рукописи Кирилло-Белозерского монастыря XV века: Историко-кодинологическое исследование. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2013.
49. Goldblatt H. *Orthography and Orthodoxy: Constantine Kostenečki's Treatise on the Letters (Skazanie izbavljenno o pismenex)*. Firenze: Le Lettere, 1987 (Studia Historica et Philologica. Vol. 16).
50. Miklas H. Kyrillomethodianisches und nachkyrillomethodianisches Erbe im ersten ostslavischen Einfluss auf die südslavische Literature. *Symposium Methodianum: Beiträge des*

Internationale Tagung in Regensburg zum Gedänken an den 1100. Todestag des hl. Method, Neuried: Hieronymus Verlag, 1988, S. 437-471 (Selecta Slavica. Bd 13).

51. Romanchuk R. *Byzantine Hermeneutics and Pedagogy in the Russian North: Monks and Masters at the Kirillo-Belozerskii Monastery, 1397-1501*. Toronto; Buffalo; London, University of Toronto Press, 2007.

52. Thomson F. J. The Bulgarian Contribution to the Reception of Byzantine Culture in Kievan Rus': The Myths and the Enigma. *Harvard Ukrainian Studies*, 1988/1989, Vol. 12/13: Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'-Ukraine, pp. 214-261.